

**И.С. Тургенев**

# **Степной король Лир**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Т87

**Тургенев И.С.**  
Т87 Степной король Лир / И.С. Тургенев – М.: Книга по Требованию, 2021. – 68 с.

**ISBN 978-5-4241-2372-6**

"Любовь сильнее смерти и страха смерти; только ею, только любовью держится и движется жизнь". Эти слова Ивана Сергеевича Тургенева могли бы послужить эпитафией к его творчеству, да и к его собственной жизни.

Чувством любви - возвышенной и романтической, всеобъемлющей и вечной - пронизаны страницы его лучших произведений, одухотворены его собственные помыслы и поступки.

**ISBN 978-5-4241-2372-6**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© И.С. Тургенев, 2021

Иван Сергеевич Тургенев  
Степной король Лир



Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.

– А я, господа, – воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, – знал одного короля Лира!

– Как так? – спросили мы его.

– Да так же. Хотите, я расскажу вам?

– Сделайте одолжение.

И наш приятель немедленно приступил к повествованию.

# I

«Все мое детство, – начал он, – и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы ...й губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению: ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского! На громадном туловище сидела, несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова; целая копна спутанных, желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного, лица торчал здоровенный, шишковатый нос, надменно топорщились крошечные голубые глазки и раскрылся рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и зычный... Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой, – и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно... Одним взглядом его, бывало, и не окинешь! Но неприятно оно не было – некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки – те же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взглянуть на двухаршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи – с заворотками и выгибами; щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович – и зиму и лето – казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги; галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух? Дышал он протяжно и тяжело, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что, попавши в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке: народ наш до сих пор благоговееет перед богатырями. Про него даже сложились легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. „Коли десница у меня благословенная, – говаривал он, – так на то была воля божия!“ Он был горд; только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.

– Наш род от шведа (он так выговаривал слово швед); от шведа Харлуса ведется, – уверял он, – в княжение Ивана Васильевича Темного (вон оно когда!) приехал в Россию; и не пожелал тот швед Харлус быть чухонским графом – а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причине мы все, Харловы, урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом! потому снеговики!

– Да, Мартын Петрович, – попытался я было возразить ему, – Ивана Василье-

вича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.

– Ври еще! – спокойно ответил мне Харлов, – коли я говорю, стало оно так!

Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.

– Эх, Наталья Николаевна! – промолвил он почти с досадой, – нашли за что хвалить! Нам, господам, нельзя иначе; чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я – Харлов, фамилию свою вон откуда веду... (тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок) и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?

В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшede Харлусе, который выехал в Россию...

– При царе Горохе? – перебил сановник.

– Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном.

– А я так полагаю, – продолжал сановник, – что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии...

Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу; но он понял, что сановник трунит над ним.

– Может быть, – брякнул он, – наш род точно очень древний; в то время как мой пращур в Москву прибыл, сказывают, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет.

Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня, – перебил Харлов, – не наскокивай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым; но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» – спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом.

## II

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала: он, лет двадцать пять тому назад, спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса – хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме; ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом, и прожила она с ним недолго; однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа – и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землицы за ним водилось десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались, – об этом и толковать нечего! По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком: земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чухлой, тридцатилетней кобылой, со шрамом от раны на плече: эту рану она получила в бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцой, вприпрыжку; ела она чернобыльник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол; иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже, с вожжами в одной руке (другую он хватски, с вывертом локтя, опирался на колено), с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов; попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы и однажды, поравнявшись со мною (я вышел прогуляться с ружьем), так заагукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.

### III

Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. «Барыня! госпожа! Нашего поля ягодка», – так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один на целую ватагу мужиков; и хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа (она рано овдовела) таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. Притом же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил – и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог; и с очками-то на носу он едва-едва, в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему – что писать, что блох ловить – все едино. Да, матушка его уважала... однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух: землей отдавало от него, лесным дромом, тинной болотной. «Как есть леший!» – уверяла моя старая няня. К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол – и он этим не обижался – он знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом – да и ему было привольнее есть; а ел он так, как, я полагаю, не едал никто со времен Полифема. Для него всегда в самом начале обеда припасали, в видах предосторожности, горшок каши фунтов в шесть: «А то ведь ты меня объешь!» – говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» – отвечал, ухмыляясь, Мартын Петрович.

Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете; но долго не могла выдерживать его голос.

– Что это, мой батюшка! – восклицала она, – ты бы от этого хоть полечился, что ли! Совсем оглушил меня. Этакая труба!

– Наталья Николаевна! Благодетельница! – отвечал обыкновенно Мартын Петрович. – Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может – извольте посудить? Я вот лучше помолчу маленечко.

Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал.

Рассказывать он не умел и не любил. «От долгих речей одышка бывает», – замечал он с укоризной. Только когда его наводили на двенадцатый год (он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке), когда его спрашивали про французов, он сообщал кой-какие анекдоты, хотя постоянно уверял притом, что никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародершки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам колачивал.

## IV

А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать; запирался один к себе в комнату и гудел – именно гудел, как целый пчелиный рой; либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома новиковского «Покоящегося Трудолюбца», или петь. И Максимка, который, по странной игре случая, умел читать по складам, принимался, с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений, выкрикивать фразы, вроде следующей: «Но чé-ловек страстный выводит из сего пустого места, кото-рое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, ска-зывает он, не сильна сделать меня счас-тливым!» и т. д.<sup>1</sup> – или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что: «И... и... э... и... э... и... Ааа... ска!.. О... у... у... би... и... и... и... ла!» А Мартын Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет, яко былие; пройдет – и не будет! Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: «Такова жизнь человеческая!» Очень понравилась ему эта картинка; он повесил ее у себя в кабинете; но в обыкновенное, не меланхолическое, время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущала. Харлов, этот колосс, боялся смерти! К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было; его в церкви не часто видали; правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать – и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь всё – трын-трава! Русский был человек.

## V

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического; он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приотившийся в нашем доме, в качестве не то шута, не то нахлебника – брат его покойной жены – некто Бычков, с младых ногтей прозванный Сувениром и так уже оставшийся Сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его Сувениром Тимофеичем. Настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал. Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик, одним словом. С одной стороны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, егозил: в девичью заберется или в контору, на слободку к попам, а не то к старосте в избу; отовсюду его гонят, а он только пожимается, да шурит свои косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность поневоле его «сократила». Пить позволялось ему только в праздники. Одевали его прилично, по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял ее партию в пикет или бостон. Сувенир то и дело твердил: «Я вот, позвольте, я чичас, чичас». – «Да что *чичас?*» – с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинёт руки назад, струсит и лепечет: «Как прикажете-с!» Под дверями послушать, посплетничать, а главное «шпынять», дразнить – другой у него заботы не было – и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он звал братцем и надоедал ему пуше горькой редьки. «Вы сестрицу Маргариту Тимофеевну за что уморили?» – приставал он к нему, вертясь перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в биллиардной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал и которую сосед наш, враг жары и солнца, – оттого очень жаловал. Сидел он между стеной и биллиардом. Сувенир шмыгал мимо его «чрева», дразнил его, кривлялся... Мартын Петрович хотел оттолкнуть его – и двинул обеими руками вперед. К счастью Сувенира, он успел увернуться – ладони его братца прились в упор о край биллиарда – и со всех шести винтов слетел тяжелый деревенский биллиард... В какую лепешку превратился бы Сувенир, если б попал под эти мощные руки!

## VI

Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. Однажды я вызвался проводить его верхом до Еськова (так называлось его имение). «Вишь ты! Хочешь посмотреть мою державу, – промолвил Мартын Петрович. – Изволь! И сад покажу, и дом, и гумно – и все. У меня всякого добра много!» Мы отправились. От нашего села до Еськова считалось всего версты три. «Вот она, моя держава! – загремел вдруг Мартын Петрович, сиюсь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево. – Все мое!» Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма; внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избенок. У пруда, на плоту, старая баба в клетчатой поневе колотила вальком скрученное белье.

– Аксинья! – гаркнул Мартын Петрович, да так, что грачи стаей взвились из соседнего овсяного поля... – Мужу портки моешь?

Баба разом обернулась и поклонилась в пояс.

– Портки, батюшка, – послышался ее слабый голос.

– То-то! Вот посмотри, – продолжал Мартын Петрович, пробираясь рысцей вдоль полусгнившего плетня, – это моя конопля; а та вон – крестьянская; разницу видишь? А вот это мой сад; яблони я понасажал, и ракиты – тоже я. А то тут и дерева никакого не было. Вот так-то – учись.

Мы завернули на двор, огороженный тыном; прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигель с соломенной крышей и крылечком на столбиках; в стороне стоял другой, поновой и с крохотным мезонином – но тоже на курьих ножках. «Вот ты опять учись, – промолвил Харлов, – вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили; а теперь я вона какие палаты себе соорудил». Палаты эти походили на карточный домик. Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. «Овчары! – заметил Мартын Петрович. – Настоящие крымские! Цыц, оглашенные! Вот возьму да всех перевешаю». На крыльце нового флигелька показался молодой человек в длинном нанковом балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрозжкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя – и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сидение; потом он помог мне сойти с лошади.

– Анна! – воскликнул Харлов, – Натальи Николаевнин сынок к нам пожаловал; попоштовать его надо. Да где Евлампиишка? (Анной звали старшую дочь, Евлампией – меньшую.)

– Дома нет; в поле за васильками пошла, – отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери.

– Творог есть? – спросил Харлов.

– Есть.

– И сливки есть?

– Есть.

– Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйста сюда, сюда, – прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в